



Франсуаза
САГАН

НЕДВИЖНАЯ ГРОЗА

В зеркале, которое протягивает вам
прошлое, Франсуаза Сеган встречает
вечную юность.

Анн Берест

Саган. Коллекция

Франсуаза Саган
Недвижная гроза

«Азбука-Аттикус»

1983

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Саган Ф.

Недвижная гроза / Ф. Саган — «Азбука-Аттикус»,
1983 — (Саган. Коллекция)

ISBN 978-5-389-18006-2

Франсуазу Саган называли Мадемуазель Шанель от литературы. Начиная с самого первого романа «Здравствуй, грусть!» (1954), наделавшего немало шума, ее литературная карьера складывалась блестяще, она с удивительной легкостью создавала книгу за книгой, их переводили на различные языки, и они разлетались по свету миллионами экземпляров. «Недвижная гроза» (1983) — единственный исторический, «костюмный» роман, опубликованный при жизни Франсуазы Саган. Время действия — дивное лето 1832 года, с его балами и пикниками, визитами и чаепитиями. А еще это лето любви. Тридцатилетний провинциальный нотариус Николя Ломон влюбляется в молодую женщину по имени Флора. Недавно овдовевшая Флора поселилась в замке, принадлежащем ее семье. Тихая история любви сменяется драмой, в которой бурлят страсть и ярость. История, рассказанная Николя Ломоном тридцать лет спустя, погружает читателя в атмосферу романов Стендаля или Мопассана.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-18006-2

© Саган Ф., 1983
© Азбука-Аттикус, 1983

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

19

Франсуаза Саган

Недвижная гроза

Пегги Роше

Пусть читатель, открывший эти страницы – если только слепое авторское тщеславие или какой-нибудь фокус судьбы не заставит меня их уничтожить, – знает, что я приступаю к описанию событий лета 1832-го не для того, чтобы поведать ему, а для того, чтобы вспомнить самому. И пусть он знает также, что я желаю всем участникам событий – и палачам, и жертвам, и таким, как я, пассивным наблюдателям – только одного: забвения. Окончательного, неистового, свинцового забвения, такого же тяжелого, как то лето в благословенной провинции Аквитании, с ее обычно таким мягким климатом.

* * *

Я уже стар для любви, да и для самой жизни тоже. И если я, как многие мои ровесники, заявлю, что такое положение вещей меня удовлетворяет, мне никто не поверит. И будут не правы. Пройдут еще годы, и то, что было моим земным телом, отнесут под кипарисы кладбища в Нерсаке. Если же найдется хоть одна добрая душа, которая оплачет мою смерть, или злой дух, который ей порадует, ни плакать, ни ликовать будет не о чем. Они будут присутствовать при кончине трупа. Я уже тридцать лет как мертв. И все тридцать лет я только и мог, что заново переживать то, что произошло в те жаркие летние дни.

* * *

В 1832 году мне сравнялось тридцать. Я являл собою прекрасную партию: был молод, простодушен, холост, наследовал одно из лучших мест нотариуса в провинции и обладал недурной внешностью, если судить с точки зрения здоровья, а не элегантности. Выглядел я примерно так: волосы низко спускались на довольно высокий лоб, глаза, как у охотничьей собаки, глядели упрямо и независимо, рот над чуть выдающимся вперед подбородком дышал здоровьем. Все это дополняли широкие плечи, сильное тело и яркий румянец. Предметом моей особой гордости были длинные, тонкие пальцы, которые женщины полагали красивыми. Женщины... Несколько приключений в студенческие годы в Париже, долгая и глупая страсть к одной провинциальной Цирcee, нынче тоже старушке, легкие интрижки с разочарованными чужими женами и несколько благосклонных взглядов на молоденьких девушек, которые тут же решали, что я на них женюсь. По-настоящему же я любил только одну женщину. Ее звали Элиза, она была камеристкой моей матери. Однако спустя год трепетной любви Элиза от меня сбежала, несмотря на все мои мольбы. Может, поэтому скандал и не разгорелся. Она была единственной, кто хоть немного меня любил, кто отогрел меня в любви. Но очень немного. Дальше на этом поприще я либо терял голову, либо испытывал разочарование. Думаю, такова была в ту эпоху судьба всех молодых холостяков моего возраста и круга.

В 1832 году в Ангулеме, как и положено, имелся свой кружок, и возглавляла его, как и положено, супруга префекта, госпожа Артемиза д'Обек, которую за глаза называли «De Ves Haut»¹, предмет моих безнадежных вздыханий. Все у этой Цирцеи было чересчур: чересчур высокий и тонкий стан, чересчур белокурые волосы, чересчур резкий голос и возраст

¹ Здесь имеет место игра слов: и в фамилию дамы, Аубес, и в ее прозвище, Вес Haut, входит слово «вес», которое означает «клов». «Вес Haut» – буквально: «нос кверху», то есть гордычка, задавака. (*Здесь и далее примеч. перев.*)

чересчур... скажем так, преклонный. Я и сейчас недоумеваю: и что соблазнительного я в ней нашел? В мое оправдание надо сказать, что в то время я был слишком молод, но и сейчас эта любовь вгоняет меня в краску. Однако остальные, похоже, не так жестоко, как я, страдали от строгих добродетелей Цирцеи. Артемиза д'Обек держала своего супруга Оноре д'Обека и всю свиту воздыхателей рукой деспотичной, но щедрой. Злые языки утверждали, что к Обокам перекочевало богатство тех, кого отец госпожи Артемизы отправил в изгнание. Так или иначе, а десять лет правления Обоков были отмечены балами, поэтическими собраниями, пикниками, изысканными ужинами и прочим. Не быть приглашенным на эти балы считалось бесчестьем, не явиться на них считалось вызовом. Госпожа иногда этим пользовалась и забывала кое-кого пригласить. И кое-кто этим тоже пользовался, забывая дату приглашения. И в том и в другом случае шум не смолкал в течение целых четырех месяцев.

Видимо, кто-то сочтет странным, что я так жестко говорю о женщине, в которую был влюблен полтора года, но она того заслуживает. Надо быть слишком молодым, чтобы другие открывали тебе глаза на женщину. Надо быть очень открытым, чтобы женщина смогла про-извести в вашем сердце такие разрушения. И надо испытать огромное разочарование, чтобы потом умирать от тоски и стыда.

Но я отвлекся. Итак, весна 1832 года, Ангулем. Несмотря на беспорядки, Луи-Филипп правит Францией. Богатые, как всегда, богаты, а бедные, как всегда, бедны. Буржуа, то есть единственный политический барометр страны, как всегда, довольны. Во всей Аквитании царит благоденствие... Чтобы оценить это высказывание, надо знать Аквитанию. Я ловлю себя на том, что мечтаю об идеальном читателе: веселом, легковерном, которого моя проза сразу возьмет за живое. Что тут поделаешь, смешное просто ходит за мной по пятам! Ну что я совершаю такого значительного, когда слежу за своей рукой, все еще красивой, несмотря на вены, натянувшиеся, как веревки? Рука моя выводит одну за другой синие закорючки на плотной белой, словно присыпанной мукой, бумаге, а закорючки эти вылезают из такой же белой чернильницы. А не кроется ли в бесполезности этих знаков безнадежность всей затеи? Во всяком случае, моя собственная никчемность мне очевидна. Из моего окна на последнем этаже дома (который местные крестьяне называют замком, знать – строением, а практичные буржуа – жильем) открывается прелестный шарантский пейзаж. Пологий холм утопает в светлой зелени долины, обрамленные кустарниками поля спускаются к реке. По небу далеко-далеко тянутся розовые, белые, голубые облака. Круглые, ярко алеющие на западе, они весело гарцуют, ничуть при этом не ослабляя той власти, что всегда имело небо над нашими землями. Оно изо дня в день величаво простирается от горизонта до горизонта над лугами, церквями, селениями, и ни один колосок, ни одна травинка от него не укроется. Если нынешняя эпоха значительно минувшей, значит и небо ближе, и солнце ярче, и ночи чернее, и ветры неукротимее, и уж жара так жара, а снег так снег. Дома здесь круглые, но тяжеловесными не кажутся. Они красиво выстроены, по большей части крашены белым или серым, и от приземистых квадратных домов Боса или высоких построек юга Франции их отличает особая «посадка головы», козырек над крыльцом. Эта земля и ее жители умеют за себя постоять. Они приветливы без фамильярности, честны без суровости, веселы без разгула.

Так вот, в 1832 году в наших краях появилась, вернее, в наши края вернулась женщина, которой должны гордиться и в Ангулеме, и в Сентонже. Это не была лицемерная парижанка или эксцентричная иностранка. Это была женщина наших корней, нашего воспитания, обычаев и вкусов, настоящая француженка и прежде всего – настоящая представительница нашей провинции. Ее звали Флора, Флора де Маржелас, и она принадлежала к старинной аристократической семье. Как говорили, ее замок простоял в запустении почти сорок лет, пока Маржеласы, уехавшие в числе последних, не поняли, что во Франции больше не будут рубить головы аристократам. Их дочь, родившаяся в 1805 году, за это время успела выйти замуж и овдоветь. Родители, видя ее печаль, решили вывезти ее на родину. Они продали свои английские владе-

ния, а потом тоже умерли, как и супруг Флоры. И тогда она приехала. Как раз в то время, когда об их семье полностью позабыли, а о Флоре де Маржелас никто даже слыхом не слыхивал.

Она приехала весной, задержавшись на два года в Париже. За эти два года она освоила родной язык в совершенстве, что только подчеркивал легкий английский акцент. Осваивать Францию она начала с того, что в этой стране было наиболее привлекательным и наиболее опасным: со столицы. Столица оказалась и стимулирующим началом, ибо Флора, овдовев в Лондоне, так и осталась бы вдовой, не уедь она оттуда. Зато в Париже она очень быстро превратилась в молодую женщину на выданье. За два года она отвергла множество предложений. Похоже, ей не хотелось расставаться со своим вдовством, которое, однако, доставляло ей массу неприятностей. Некоторым женщинам на роду написано быть вдовами, точно так же как другим – матерями, старыми девами, женами или любовницами. Флора де Маржелас явно принадлежала к последним двум категориям. Она родилась для того, чтобы разделить жизнь с мужчиной, но мужчина этот должен не только давать ей приют и защищать под своим кровом, но и уметь смеяться вместе с ней. Именно таким был лорд Десмонд Найт, ее первый муж. За пять прожитых вместе лет он дал ей то, что она приняла безоговорочно: горячую взаимную любовь и доверие. В этих условиях тело, сердце и рассудок пребывают в полном согласии. Когда лошадь Десмонда, как в романе, вернулась в конюшню без всадника, Флоре было двадцать четыре года. Когда она приехала в Ангулем, ей было двадцать шесть. В конце лета 1835 года, а точнее, 23 сентября ей исполнилось тридцать, но это уже не имело значения ни для кого, в том числе и для нее. Меня это тоже не волновало. Ведь я нотариус, служитель закона, и моя главная задача – придавать смысл датам, скреплять печатью законность имущества, предоставляя куску фигурно выкованного железа подтверждать права и обязанности каждого. И в конце лета 1835 года я вдруг понял, что в своих регистрах не написал ничего, что переживет меня, моих внуков и внуков моих письмоводителей. Из-под моего пера выходила одна безвкусная ерунда, лишённая всякого интереса и смысла. Клиентам она не давала ни уверенности, ни гарантий законности или незаконности. Не давала ничего, кроме перспективы в один прекрасный день почувствовать во рту ужасный привкус праха, который я ощущаю с утра до ночи. Не хотелось переживать это в одиночку, пусть уж никого это не минует. Сон... ничтожный, блаженный сон, ничего я так не любил и не желал в то время по ночам, как тебя. Я, может, и женщин никогда так не любил и не желал. Никого, кроме Флоры. Ибо я не знал ни одного мужчины, достойного называться мужчиной, который не пошел бы на все, лишь бы она была счастлива. Ни один мужчина, достойный называться мужчиной, не пошел бы на все, только бы счастье вернулось к ней, пусть и без него.

Итак, в апреле 1832 года, заботясь, чтобы никто не увидел и не встретил ее на улочках Жарнака, Флора де Маржелас прислала мне, как и многим другим, приглашение с печатью, которая кое-что вызвала в моей слабеющей памяти. На гербе Маржеласов красовался стоящий лев, а фоном служило пшеничное поле под изменчивым небом. Прихотливый девиз гласил: «*Virtus sive malus*»². Этот герб явно уже попадался мне, когда я еще учился, и перед моими глазами возникла дорожная карета, мчащаяся на фоне пожарища, а в ней маленькие виконт и виконтесса. И видел я это за пределами замка Маржелас, в пяти лье от места моей учебы. Но мне было уже тридцать, и прекрасный образ времен Французской революции явно навеяли учебники истории моего крестника. В приглашении значилось, что леди Десмонд Найт, вдова лорда Десмонда Найта, извещает о том, что вновь поселилась в своем имении Маржелас, расположенном в Жарнаке, и будет рада видеть меня, «а также и моих друзей, если они окажут ей такую честь». И присовокупляет, что ее родители, Отон и Бланш де Маржелас, скончавшиеся два года тому назад в Норфолке, тоже, несомненно, были бы мне рады. Родители Флоры приходились друг другу кузенами, они выросли вместе, потом поженились, и их родство не

² «Добродетель или зло» (лат.).

составило тому никаких препятствий. Флора родилась слишком поздно, после десяти неудачных беременностей, которые расшатали здоровье ее матери и свели ее в могилу. Вскоре после нее от горя умер и отец. Эта двойная утрата, постигшая ее сразу после гибели мужа, заставила Флору покинуть Англию и уехать во Францию, которой она не знала, в провинцию, о которой слышала только, что преданные до фанатизма фермеры уберегли от разрушений замок ее отца. Словом, Ангулем, его окрестности и все слои ангулемского общества вдруг узнали, что существует младшая Маржелас, которой принадлежит замок того же имени, что она молода, богата, недавно овдовела и приехала из Англии, чтобы поселиться здесь. Я опускаю все то, что некоторые прибавляли от себя, поскольку эти подробности, как бы красочны, романтичны и невероятны они ни были, суть обычные для провинциалов измышления, лезущие в голову к концу нудной зимы. Что же до меня, то, поскольку мой дед был нотариусом семьи Маржелас, меня просили прибыть в замок на следующей неделе.

Я отправился туда во вторник, 15 апреля. Передо мной лежит та самая записная книжка, где твердым молодым почерком выведено: «Маржелас три часа». Так и написано, без знаков препинания: «Маржелас три часа». Да, судьба никогда не высылает глашатаев, чтобы известить о своих виражах, а может, глашатаи просто не хотят утруждать себя и вовремя мигнуть нам, бедным тупоголовым смертным... И я тогда с радостью оседлал своего рыжего жеребца и поехал в Маржелас. День был прекрасный, в лесу пахло ландышами, а в поле – свежей травой. Большой круглый замок, окруженный кустарником, показался мне очаровательным в ярком свете весеннего дня. На лугу перед замком резвились две лошади: черная и белая. Они были так хороши, что я загляделся на них и чуть запоздал подойти к стоявшей на крыльце Флоре де Маржелас. Она сама пошла мне навстречу, протянув руку для поцелуя. Я в смущении склонился над этой рукой, уже зная, что ее обладательница молода, хороша собой и добра. Когда же я поднял глаза и посмотрел ей в лицо, то мне показалось, что она мой давний друг. Все в ней было мне знакомо и близко: миндалевидные голубые глаза, свежая кожа, нежный овал лица, приветливая улыбка, изящный изгиб шеи, легкие золотистые волосы, сияние глаз, низкий, весело звучащий голос. И мне сразу же захотелось на ней жениться, чтобы она нарожала мне детишек, а я бы ее лелеял и отдал бы ей всю жизнь. А ведь у меня уже был горький опыт, я уже питал глупую страсть к бессердечной женщине. Но с тех пор прошло уже десять лет. Я не был холодным по натуре, но и особой влюбчивостью тоже не отличался. У меня сердце всегда отставало от тела, а разум – от сердца. Я был настолько ошеломлен, что вместо «мое почтение, мадам» чуть не сказал Флоре де Маржелас: «Выходите за меня замуж». Тут было отчего ошалеть робкому человеку, да и отважному тоже.

Вот уже три недели, как я не открывал эту тетрадь. Письмо или воспоминание либо оба вместе суть вещи опасные и во всех случаях болезненные. Заканчивая описание нашей встречи на белом листе бумаги, я заметил, что синие закорючки ускользают и исчезают. Я увидел, как улетают тонкие веленевые листки, а за ними летят листки моей записной книжки, а за ними – и осенние листья, листья времени... И на том крыльце я увидел себя, трепещущего... Я снова ощутил запах травы с луга, сложный аромат духов, идущий от руки Флоры, и услышал, как за спиной звякнула уздечка: это мой конь мотнул головой. Я увидел смеющиеся нежные голубые глаза и нашу молодость, мою и Флоры. В мозгу снова пронеслась безумная идея сказать ей: «Выходите за меня замуж». И такая тоска охватила меня, такое раскаяние, что я этого не сделал, что воспоминание о том дне, с его смешением света, теней и запахов, стало вдруг невыносимым и мне пришлось прекратить записи. Но я снова пишу, несмотря на то что ненавижу быть несчастным, ненавижу, когда мне сочувствуют, терпеть не могу лелеять ностальгию по прошлым дням и по утраченному счастью. И все равно пишу: это сильнее меня. Пишу вопреки всему, только бы скрипело перо по белеющей бумаге. Пусть мои интимные до омерзения записки никому не нужны, но перо летит все быстрее, и почерк становится все неразборчивее... В мой дом-жилище-замок давно никто не заходит, кроме тихой и близорукой эко-

номки, ее тихого и дальнзоркого мужа и их помощников да еще кюре из Нерсака. Он все не может смириться с тем, что я утратил веру, в чем ему однажды и сознался, находясь в непростительном расположении духа. Кроме этих милых, бесцветных и увядших людей, которых в будущем не ждет никаких событий, кроме смерти, никто больше не заходил сюда с тех пор, как Флора в последний раз закрыла за собой дверь. За дверью исчезло ее платье из жатого шелка, ее пышные золотистые волосы. Они горделиво развевались в ярком солнечном свете, как захваченное у неприятеля знамя, в насмешку развернутое над мертвенно-бледным лицом, которое внезапно стало чужим и отныне лишилось возраста и пола.

Из всех мужчин Ангулема я первым влюбился во Флору, хотя заслуги моей в том нет: я просто первый ее увидел. Но влюбился не я один. Думаю, что под конец первого бала, данного в замке Маржелас, у меня уже хватало соперников. И дело было не в них: Флора обладала потрясающим очарованием, и в тот вечер все впервые испытали его на себе. Пытаясь сохранить оттенок тайны, который составляет основу кокетства у каждой женщины, она сумела сделать так, что до первого бала никто ее не видел. Она не выходила из Маржеласа, а если и выезжала в английской коляске, то по английскому обычаю правила ею сама, чем вызвала переполох у ангулемских дам. Правила она виртуозно и всегда неслась во весь опор. Мужчины, которые попадались ей на пути за эти десять дней, предпочитали поосторониться и побережь себя, а не присоединиться к этой амазонке. Два рысака, белый и черный, были выписаны прямо из Англии и, повинувшись твердой руке хозяйки, мчали ее с такой скоростью, что видны были только развевающаяся грива волос, блестящие радостью глаза и легкая, скорее мальчишеская, нежели женская, фигурка. Наши прекрасные дамы из префектуры, привыкшие путаться в длинных юбках, вылезая из коляски, сочли такое спортивное поведение неприличным. И пошло шушуканье, что Флора де Маржелас вот так же обращалась и со своим бедным мужем: с помощью плетки (хотя никто не видел, чтобы лошадей она хлестала плеткой) – вот и загнала его насмерть бешеным аллюром. Госпожа префектша, в присутствии которой я имел неосторожность заявить, что госпожа Найт, урожденная Маржелас, не лишена привлекательности, да еще по глупости при этом покраснел, долго точила все свое оружие перед знаменательным балом 30 апреля: а вдруг ее полное превосходство окажется под угрозой? Дамы потихоньку отрядили в замок своих слуг и поваров, чтобы помочь иностранке готовить и сервировать стол. Похоже было, что леди с первого взгляда всех в себя влюбляла, и это расстраивало планы и оставляло неудовлетворенным любопытство. Единственным из мужчин, кто видел ее и разговаривал с ней в те дни, был я, верзила Николя Ломон, и эта привилегия досталась мне благодаря моим обязанностям нотариуса. И меня буквально засыпали вопросами, точно я все пятнадцать дней провел у ног Флоры. На самом деле я видел ее всего три раза и не более чем по полчаса. Мы обсуждали деловые вопросы, вернее, она заставляла меня говорить о делах, доверяя мне свое имущество и интересы одно за другим с непосредственностью, которая меня вдохновила бы, если бы сразу не возникло тревожное предчувствие, что она меня никогда не полюбит: слишком уж твердо она была во мне уверена. Я не настолько глуп, чтобы не понимать, что нет любви без страха любви, а Флора меня ни капельки не боялась, и в этом она рассудила верно. А я боялся. Боялся полюбить ее, хотя уже любил. Не хочу вдаваться в подробности, как и почему я полюбил Флору де Маржелас сразу и до конца своих дней. В моих записках хватит с лихвой и простого перечисления фактов. Скажу только, что с самого начала мне было заказано ее любить, но я любил, более того, я гордился своей любовью, заранее принимая все, что она мне принесет, в том числе и мучения. Как бы то ни было, но ничто, исходящее от Флоры, не могло меня унижить. Это я увидел и понял с первого взгляда.

На бал явился весь Ангулем, большая компания аристократов из Коньяка, множество знати со всех уголков департамента, несколько литераторов из Парижа, что вызвало особое удивление и любопытство (будто бы Париж только и населен что вырожденками и продажными девками), и две-три английские пары. Я буду точен, если скажу, что с самого начала бала про-

извел впечатление предателя. Такое чувство я испытываю очень редко, и мало что способно его вызвать. Артемиза д'Обек появилась вместе с супругом Оноре-Антельмом д'Обеком, который, как я уже сказал, был префектом Ангулема и ожидал назначения в Лион, а потом, как поговаривали, и в столицу, что было предметом вождения всех мелких политиков французской провинции. Политические и материальные амбиции Оноре д'Обека были известны всем. Из молчаливого соглашения между Обеками, французской администрацией и городом Ангулемом следовало, что под конец своей карьеры краснолицый недотепа Оноре д'Обек станет могущественным миллионером, а его супруга будет командовать Парижем во всю силу своего зычного голоса. Она жила в предвкушении всех этих благ, и появление Флоры поставило ее господство под угрозу. Я был не единственный, кто понимал, что Флоре надо бы проявить лояльность и либо войти в число придворных дам Артемизы, либо быстро сообразить, что нельзя вести себя так вызывающе, и отказаться от затворничества в замке. Я ни минуты не сомневался в том, что в основе ее поведения лежало вполне понятное презрение души благородной к душе низкой, личности естественной к личности жеманной, женщины действительно очаровательной к женщине, которая мнит себя таковой. По правде говоря, от бала я ожидал самого худшего. Я этого боялся и по молодости лет на что-то надеялся, не понимая, что предлагаю свою руку, репутацию и честь женщине, которую преследует свора гончих. Унижая беднягу Оноре или дерзко отвечая на обидные реплики Артемизы, я много о себе воображал. Это я-то, кто никогда не мог ответить сразу, потому что достойный ответ приходил в голову дня через три после того, как надо было ответить. Я сам себе казался участником мелодрамы, что развернулась у ворот Сен-Мартен... Когда коляска Артемизы д'Обек подкатила к крыльцу замка госпожи Найт, я решил, что сейчас оба мира столкнутся. Однако, как и все присутствующие, я увидел, что дамы встретились вполне дружелюбно и вежливо, сразу же создав видимость живейшей дружбы.

Словом, первый бал удался на славу, и Артемиза д'Обек заявила во всеуслышание, что леди Флора Найт, урожденная де Маржелас, – женщина приятная и славная компания Ангулема почтет за честь и обязанность скрасить ее вдовство. Несомненно, настанет день, когда найдется достойный кавалер, способный ее окончательно утешить. Они составят прекрасную пару, и это вовсе не испортит, а, напротив, украсит маленький шарантский Версаль, которым стал наш добрый старый город. Покидая на рассвете бал, Артемиза д'Обек уже строила планы снова выдать Флору замуж, и на ее лице светилось выражение сдержанной радости, которое возникало всегда, когда ее посещала мысль сделать кому-нибудь добро (если же ее посещала мысль сделать кому-нибудь зло, радость не тихо светилась, а вспыхивала на ее лице). Наконец она раз десять расцеловала свою дорогую Флору, которая позволила себя расцеловать, и мне пришлось признать, что моя бабушка и обе тетушки, Элиза и Артемиза, были правы: я неотесанный провинциальный дурень.

Пикники, обеды, вечеринки и прогулки по окрестным лесам продолжались, как и раньше, с той только разницей, что к ним присоединялась Флора, в которую я безнадежно и пылко влюбился. Так пролетели, словно во сне, годы 1832-й и 1833-й, которые иначе должны были бы тянуться бесконечно и показаться десятилетиями. Кроме собственной любви, я ни в чем не был уверен. Ведь никогда нельзя быть уверенным в том, что женщина к тебе неравнодушна. Ты уже потерял всякую надежду, и вдруг всего один взгляд говорит «да». Утром встаешь в отчаянии, а она пожмет твою руку – и спать ложишься полный надежд. Я находился в состоянии непрерывных взлетов и падений, вечно оставлявших меня на полпути к печали или ликования, причем от Флоры или от моих сердечных порывов уже ничего не зависело, а зависело только от доводов разума. Я в то время был смелым малым. Хотелось ли мне узнать то, что я уже знал? Должен ли я ей признаться? Я молчал и ждал, когда Флора сама об этом заговорит. Прошло пятнадцать дней, и она не могла не заметить моих чувств, но не подала и намека, что заметила. Когда любишь женщину, а она не отвечает тебе взаимностью, выходов

из положения не так уж много. Один из них – удобное мрачное молчание, на которое Флора, насколько я понимал, не способна. Альтернативы мне не были известны. Я думал, что Флора ради сохранения нашей спокойной и удобной для нее дружбы предпочтет забыть обо всем, что разрывало мне сердце. И однажды ненастным вечером я назначил ей свидание наедине, на которое она тут же согласилась, даже не спросив меня о цели и не проявив ни малейшего любопытства. На следующий день вечером, перед обедом, я с трепетом ехал в Маржелас. Всю ночь меня била дрожь от ожидания раны, которую она мне вот-вот нанесет, а глупый подросток, сидевший во мне, несколько раз будил меня, захлебываясь идиотской радостью: «А что, если она упадет в твои объятия?.. Вдруг все это всего лишь недоразумение?.. Вдруг она сама ждет, чтобы ты признался в любви? Вдруг ее сердце тоже разбито?» Я зажег лампу, пришел в себя и хотел было придушить дурня подушкой, но себя самого ведь не убьешь и не убьешь свое детство, какую бы боль порой оно ни причиняло.

Флора ждала меня возле оранжереи, к которой относилась со свойственной ей почти непростительной небрежностью. Она любила только то, что движется: людей, собак, лошадей, ветер. На ней было платье из серовато-бежевой ткани, названия которой я не помню. Когда она шла, платье шуршало и поблескивало, ловя солнечные лучи в каждую складку, и от этого казалось, что она одета сразу и в розовое, и в серое.

– Хотите войти или предпочитаете присесть здесь? – спросила она и, не дожидаясь ответа, уселась на одну из украшавших террасу плетеных соломенных скамеек.

Она, видимо, думала, что я сяду с ней рядом, но я сел напротив, в удобное кресло, и поднял на нее глаза. Я надеялся, что смотрю на нее с серьезным выражением, но на самом деле, наверное, взгляд мой был потерянным.

– Я хотел сказать вам... – начал я.

И замолчал так надолго, что она оторвала взгляд от рук, которые то сжимала, то разжимала.

– Флора... – наконец умоляюще выдавил я.

– Мне так хотелось бы... – начала она.

И когда наши глаза наконец встретились, мы поняли, что оба дошли до одной и той же степени отчаяния. Она поднялась (а может, я вскочил первым, теперь уже не помню) и обняла меня раньше, чем я обнял ее, хоть я и был на голову выше. Она начала меня укачивать, а я, уронив голову ей на плечо, затрясся от беззвучных рыданий, потому что по-настоящему не плакал с тех пор, как умер мой отец, то есть целых пятнадцать лет. Мы что-то смущенно забормотали и, прежде чем усесться рядышком на скамейке, попросили друг у друга прощения. Фразой Флоры «Мне так хотелось бы...» и моим ответом «Ничего, ничего...» все было сказано. Судьба распорядилась, чтобы я всю жизнь любил ее, а она не принадлежала мне никогда.

Спустя несколько недель, изрядно выпив, я попросил ее уделить мне пару часов ночи, как просят милостыню. Как и подобает гордой женщине, но гордой скорее своими чувствами, чем добродетелью, она ответила, что наверняка не вызвала бы во мне отвращения за эти два часа, ибо придает большое значение вещам, к которым все прочие относятся легко. И ни за что в жизни не решится впасть в вульгарность, полюбить слегка или из жалости. Когда же некоторое время спустя мы оба немного остыли, я упрекнул ее за проявленное к моей страсти молчаливое равнодушие. Но когда я коснулся «удобного молчания», она взорвалась.

– Вы, должно быть, решили, – сухо бросила она, – что когда я молчу, то думаю обязательно о вас, а не о себе. Есть такие мужчины, которые что ни скажут – преувеличат втрое. Может, и вы к ним принадлежите и когда молчите, то воображаете, что у вас больше шансов избыть свое чувство. Уверяю вас, это не так уж и глупо. Слова порой гораздо убийственнее, чем поступки.

– Так, значит, я ошибался? – начал я, но она улыбнулась и накрыла мою руку своей, чтобы я замолчал.

– Нет, – сказала она, – но вам очень хотелось ошибиться.

Мы словно очнулись ото сна, и следующие два года прошли в этом состоянии. Должен со стыдом сознаться, что для меня это были счастливые годы. Я виделся с Флорой почти каждый день, и она никого не любила, кроме меня. Зимой 1833–1834 года она несколько раз отлучалась дней на восемь, чтобы провести время в Париже у друзей покойного мужа. Эти визиты она посвящала театру, музыке и обществу литераторов. Я один знал о существовании некоего загадочного незнакомца из высшего общества, которому обстоятельства, высокий пост и бог его знает что еще мешали проводить с ней другое время, кроме этих восьми дней. Я знал, что Флора не страдает сверх меры и предмет ее сентиментальной и наверняка чувственной дружбы, конечно, оставил бы мне шанс, если бы у меня была хоть тень этого шанса. Флора возвращалась из Парижа с новыми нарядами, новыми сплетнями, новыми лошадьми и новыми капризами. Ее веселый нрав и умение радоваться жизни заставляли всех забыть о ее возрасте или воспринимать его как явление второстепенное. День ее приезда был для меня самым счастливым в году. Я на коне выезжал навстречу дилижансу, и, когда он, запряженный восьмеркой лошадей, появлялся вдали, сердце мое билось так, словно мне было пятнадцать лет. Впрочем, я хочу здесь рассказать не нашу историю, а историю отношений Флоры с другим человеком. Этот другой проявился в начале лета 1833 года, пожалуй в июне, потому что первое представление о нем связано с вишнями. Этот молодой человек лакомился вишнями перед самым окном префектши Артемизы д'Обек.

В Ангулеме большая гостиная префектуры выходила на учебный плац, туда же, куда и подъезды ресторана «Прогресс», мэрии и окна домов высшей знати. На плацу сходились четыре широкие дороги на Пуатье, Перигё, Ла-Рошель и Бордо, но делали круг, не пересекая площади, ибо она предназначалась для прогулок и развлечений. Площадь была обсажена великолепными платанами, а в их тени симметрично располагались плетеные скамейки. Дети здесь галдели тише, горожане замедляли шаг, а посреди площади возвышался один из лучших музыкальных павильонов в этих краях, а может, и во всей Франции. Его крыша, крытая выпцветшими от непогоды красными кожаными пластинами, покоилась на тонких, но прочных железных колоннах, украшенных бронзовыми виноградными ветвями. Мраморная площадка в середине была выбита тысячами лакированных тувель. К эстраде поднимались три лестницы, три другие вели к пюпитру дирижера «Ангулемской гармонии», оркестра, который местные жители называли «фанфарой», а иностранцы Орфеоном. Если не вспоминать об оркестре Королевского оперного театра, как ехидно заявляла Артемиза д'Обек, то музыка вполне приемлема, хотя для взыскательного уха и кажется слишком легкой. В тот день, когда мы с Флорой вернулись с веселой рыбалки, которая показалась тем более очаровательной, что мы опоздали к Артемизе, «Ангулемская гармония» играла вальс Россини. Собственно говоря, это была тема Россини, переделанная под вальс для слушателей провинции Коньяк. У каждого из жителей этой провинции была своя роль в развлечениях, как правило абсолютно противоположная его повседневному занятию. В данном случае все воскресные мелодии аранжировал на свой вкус сборщик податей. Но ему не удалось изменить Россини до неузнаваемости, и мы вошли в дом префекта под прелестную музыку. Я шел в трех шагах позади Флоры под перекрестным огнем тридцати глаз, и мне это давалось не так легко, как ей. Впереди я увидел незнакомое молодого человека.

– Жильдас Коссинад, – представила его мне хозяйка дома и добавила: – Сын одного из моих арендаторов, Коссинада.

Этого можно было и не говорить, однако юноша вовсе не казался опечаленным этим фактом.

Жильдас Коссинад был очень хорош собой. Его красота поразила меня, тем более что я обычно не обращаю внимания на внешность мужчин. Двадцать три года (как я узнал позже), грива темных волос, сверкающие ослепительной белизной зубы, а в посадке головы, в жестах

и во всем облике – нечто изысканно-аристократическое. Все в нем дышало молодостью и в то же время мужественностью, и уж если на меня он произвел такое впечатление, то для дам явно был неотразим. Он тепло пожал мне руку и заверил, что его отец, о котором он говорил без всякой снисходительности, а, наоборот, с почтением, рассказывал ему обо мне как о лучшем нотариусе в округе, поскольку я помог ему выиграть какую-то тяжбу. Видимо, он тоже разделял отцовскую признательность. Когда он улыбался, у его глаз появлялись складочки, а тонкие черты лица смягчались и он становился прямо-таки олицетворением молодости. Он обезоруживал всех, и я был точно так же обезоружен в тот день... А надо было хватать оружие и сражаться...

Флора обошла наших друзей и подошла к Артемизе и ко мне за спиной молодого человека, которого Артемиза крепко держала за локоть. Госпожа д'Обек ослабила хватку только для того, чтобы взять его за рукав слегка тесноватого платья, и я понял, что это костюм от Жанно Крестьянина, поставщика всех окрестных арендаторов. Она не выпускала Жильдаса, чтобы представить Флоре. Он обернулся, и теперь я видел только его затылок и лицо Флоры, которая бегло на него взглянула. Мне было интересно, как она отреагирует. Я ожидал, что на ее милом и знакомом лице отразится восхищение красотой, такой мужественной в своей утонченности и такой утонченной в своей мужественности. Мне казалось, что теперь я могу все понять по ее лицу. Однако, против ожиданий моих и Артемизы, которая всегда внимательно за ней наблюдала, представляя очередного нового гостя, на лице Флоры отразилась холодная скука, почти недовольство. Когда же Артемиза так же грубо, как мне, представила ей юношу, это несвойственное Флоре выражение проступило еще более явно и могло даже привести на мысль о снобизме или высокомерии. Оно появилось после того, как Артемиза произнесла: «Вы знакомы с сыном нашего арендатора Коссинада?» Казалось, эта фраза Флору очень раздосадовала. Однако секунду спустя пренебрежительная фамильярность нашей милейшей префектши как по волшебству рассеяла эту неожиданную надменность. Флора протянула молодому человеку руку и сказала:

– Боже мой, так это вас я видела позавчера у дороги к порту? На поле пшеницы или чего-то там?

– Мы обрабатываем эти поля, – непринужденно ответил юноша, – но земля принадлежит графу д'Обеку. Мой отец арендует землю вот уже тридцать лет.

– Тогда я должна перед вами извиниться, – заявила Флора. – Моя кобыла понесла и потоптала ваши посевы. Я собиралась пойти к вам попросить прощения и возместить убытки, но...

– Ничего страшного, не думайте об этом, – произнес юноша. – Урон ничтожен. А кобыла у вас такая красивая и легкая! Утром я все подправил, и теперь ничего не видно. Граф д'Обек ничего не заметит. Но зато...

Он замолчал, загадочно выгнув бровь и наклонившись к нам. И мы все инстинктивно нагнулись, словно стремясь избежать нескромных ушей. Однако Артемиза, к своему огромному сожалению, вынуждена была ринуться к двери – встречать старого судью и своего супруга.

– Но зато? – нетерпеливо переспросила Флора.

– Но зато я больше натерпелся вот с этим, чем с посевами... – сказал юноша, протянув вперед руки.

До этого он все время держал их за спиной, как и подобает приличному буржуа, а теперь они оказались на виду, с мозолями, трещинами, обломанными ногтями, – руки, привычные к ежедневному труду.

Это были сильные, загорелые, мускулистые руки, по сравнению с которыми мои, хоть и задубленные охотничьими вылазками и вожжами экипажа, все равно выглядели как руки

горожанина. А его руки смотрелись по-мужски, а не по-юношески, и Флора сразу отвела от них глаза с поспешностью, которую я по глупости расценил как сочувствие или стеснение.

– Здорово же вы расцарапались, – мягко сказала она.

– Мне стыдно было явиться в такой салон с руками батрака... Мое присутствие здесь неуместно, – продолжал он с той же радостной и гордой улыбкой, и в нем чувствовалась такая беззаботность и доброжелательность, что я вдруг подумал: «А ведь он счастлив в своей крестьянской доле! Будь его красота соединена с титулом, он, возможно, выглядел бы весьма вызывающе».

– Почему неуместно? – спросила Флора, не глядя на него и сосредоточив взгляд на Артемизе, которая снова направлялась к нам. – Живя в Англии, я привыкла считать, что во Франции ко всем относятся одинаково. Ведь все люди слеплены, в сущности, из одной глины. Мне кажется, революцию затем и сделали, чтобы это доказать.

– Это не мешает мне зваться Коссинадом, – сказал Жильдас с утешительно-теплым оттенком в голосе. – Мой отец, мой дед и дед моего деда были испольтчиками и всегда арендовали чужую землю... Мы род арендаторов, и наш род всегда был лучшим. Правда, господин Ломон? – прибавил он со смехом.

– Вы совершенно правы – могу это засвидетельствовать, – ответил я басом, как отвечал всегда, когда меня спрашивали резко или грубо. Этот бас всегда смешил Флору.

Тут, слегка запыхавшись, появилась Артемиза и прервала меня:

– Я представила вам этого милого молодого человека, дорогая Флора, – прогнусавила она, – но не объяснила, чем он здесь занимается.

– Это не важно, – холодно ответила Флора. – Присутствие господина Жильдаса нам приятно, и ему нет нужды объясняться...

– Представьте себе, – снова вступила Артемиза, – что этот юный Аполлон, который благодаря нашему славному учредителю уже получил стипендию, или приз, или что там государство выделяет на поддержку молодежи, еще и ухитрился пройти не весть какое испытание. Так вот, он признан лучшим из эрудитов... даже лучшим, чем вы, милый Ломон, и чем Оноре... Хотя этот пример, конечно, ничего не доказывает... И знаете ли вы, что этот юноша еще к тому же и пишет? – (Это адресовалось уже Флоре.) – И что стихи... что его стихи, вместо того чтобы засохнуть в Ангулеме, отправлены в столицу и даже опубликованы в «Ревю де Пари»! Как пошутил Оноре, за века Коссинады преподнесли нам первый сюрприз такого жанра.

Ей явно не терпелось пойти крестовым походом на Коссинадов и на их новоиспеченное достоинство.

Не знаю почему, но от этого вечера у меня осталось цветное воспоминание. Погода стояла прекрасная, и лучи заходящего солнца, проникнув сквозь балконную дверь, зажгли огнем волосы Флоры. Лицо ее оставалось в тени, зато глаза светились потаенным, опасным блеском, что очень ей шло. На ней было бледно-голубое платье цвета рододендрона, и темный бархатный костюм Жильдаса удачно с ним контрастировал. Мне казалось, что пастельно-голубое платье прекрасно смотрится на женщине в расцвете красоты, в зените возраста. И рядом с ней – черный бархат в тонкий рубчик как несомненное отражение роковых тревог, циркулирующих в крови молодого человека. Мы с Артемизой далеко от них отстали в плане эстетическом: я в своем коричневом костюме и она в желтой тафте, которую справедливо полагала яркой и блестящей... Что-то восхитительное разливалось в тот день в воздухе. Судьба подчас устраивает передышку, прежде чем наступивший кризис низвергнет вас в пропасть. Случаются такие безмятежные просветления, когда любовники и соперники, грабители и жертвы дружелюбно сходятся вместе и отдыхают душой, не ведая, что этот покой всего лишь предвестие прогулки в ад.

– Боже мой, – серьезно сказала Флора, – господин Коссинад, как я вам завидую!

Эта ее всегдашняя серьезность, несомненно, вызывала улыбку у тех, кто был настроен критически, и многие считали Флору синим чулком.

смешило, зато, когда я оставался один, меня буквально распирало от гордости. Это были минуты, а то и часы, когда я прятался от мира, от контактов с другими людьми. И подчас бессонными ночами грезы и книги помогали мне свыкнуться с действительностью, точнее, с физическим одиночеством. Я не позволял себе рассуждать с расчетливостью нотариуса, не давал неопытному сердцу погружаться в пресыщенность и разнузданность. Я отказывался убеждать себя, что обладание окончательно погасило бы мою любовь к Флоре, и не хотел врать себе. Во имя истины, единой и непреложной, я отказывался от суетности, от желания счастья и отдыха. Я не хотел давать передышку своей гордости, не желал зализывать раны. Увлечшись самоанализом, я заставлял себя, не вдаваясь в объяснения, вставать из-за карточных столов, отрываясь от лихорадочных партий в вист, и подниматься с софы, на которой устроилась веселая компания. Я избегал даже своих любимых пикников, когда на пахучей темной траве белели платья дам. Чтобы остаться одному, я отказывался от тысяч милых и теплых приглашений...

О, в этом я преуспел! Теперь я совсем один. И теперь у меня нет выбора. Никто больше не ищет во мне иных человеческих черт, кроме тех, что определяет моя должность провинциального нотариуса – честного, богатого, эгоистичного и скрытного. И нет никого, кому я мог бы обрисовать другой портрет – мрачноватый и грустный портрет одинокого шестидесятилетнего старика. Наверное, отсюда и тоскливое стремление наброситься на прошлое под предлогом реконструкции настоящего, которое, в сущности, никого не интересует. Проблема дней и часов, эта мания путевых заметок и сентиментальных путешествий и есть соблазн сравнений или каверзных вопросов, которые тебя одолевают, но которые никак не сформулировать. Упрямые рефрены настоящего постепенно вытесняют опустевшие куплеты недавнего и далекого прошедшего. Я хорошенько натягиваю вожжи и скольжу от одного к другому, от вопроса: «А что же я делал в то воскресное утро, проснувшись?» – к вопросу: «А чем ты, собственно, занят теперь?» Чем занят теперь этот человек, в тридцать лет удиравший с дружеской вечеринки и пускавший коня во весь опор, выпрямляясь в лугах и на прогалинах и пригибаясь к шее коня в зарослях и кустарниках Шаранты? Неужели это он, стыдясь, выводит на бумаге свои самые сокровенные ностальгические мысли и с ужасом замечает, что его утра стали как две капли воды похожи на вечера? Неужели это он со страхом и отвращением глядит на машины, влекомые железными конями? Этому человеку одинаково отвратительны и прогресс, и будущее, и прошлое со всеми его поражениями. Вот уже тридцать лет он ни лицом, ни голосом не выдает своего отчаянного одиночества; ему некому пожаловаться, не с кем посмеяться, он оставил своих близких, друзей и любовь, чтобы быть одному и размышлять одному. Ну разве не забавно?

Я возвращаюсь на балкон к Флоре и Жильдасу. Они стоят рядом, смотрят друг на друга и разговаривают. И когда я потом увижу их вместе, беда уже случится, и это будет очевидно. И я, отвергнутый любовник, буду первым, кто поймет, что другого не отвергли.

В следующие пятнадцать дней никто не говорил о Жильдасе Коссинаде и он не появлялся в Ангулеме. Мне показалось, что я видел его однажды вечером, когда уже стемнело. Он шел за отцовской бычьей упряжкой, вспахивая поле борозда за бороздой. Я действительно видел его, но Флоре сказал, что мне показалось. Я солгал ей, как лгу сейчас этому белому листу, сам не зная зачем. Но если подумать, то причин окажется две. Во-первых, мне не хотелось напоминать Флоре о существовании этого слишком красивого юнца, претендующего называться поэтом. А во-вторых, мне было неловко, что я видел Жильдаса, всем своим телом налегавшего на плуг. Спина его выгнулась, под грубой полотняной рубашкой напряглись мускулы, и было ясно, что все поколения Коссинадов привыкли к этой подневольной позе и срослись с ней. И я, к своему удивлению, почувствовал смутное, не лишнее подлости удовлетворение. А я ненавижу все проявления подлости, особенно у самого себя. Проезжая мимо на своем гнедом красавце – кожаный хлыст в руке, шелковая рубашка с жабо развеивается по ветру, мягкие кожаные сапожки с легким скрипом трутся о стремяна, – я разглядывал, как работает этот парень.

Я и сейчас слышу свой делано-саркастический и рассеянный голос, который комментировал эту встречу Флоре: «Дорогая, я только что видел, как наш поэт-крестьянин кидал свои стихи и сонеты в глубокие борозды, и, надеюсь, они взойдут так же обильно, как хлеба на нашей старой, доброй земле... Этому юноше весьма к лицу полевые работы. Он выглядел гораздо элегантнее и естественнее, чем в салоне Артемизы». Этот голос привел меня в ужас, как и то, с какой легкостью я насмешничал. Я сам себя не узнавал. Да нет, это не я произносил, это говорил тот, будущий Ломон, будущий я, в которого в конце концов и превращусь, и это будет день отчаяния и боли, а теперь судьба просто дает мне попробовать эту боль на вкус. Вот по каким причинам я солгал Флоре, что мне показалось, будто я видел Жильдаса Коссинада.

Я об этом позабыл и полагал, что Флора тоже позабыла. Однажды после пикника мы отправились по грибы вместе с шевалье д'Орти, одним из любимчиков префектши, безуспешно волочившимся за ней и за неприступной Флорой. Мы с Флорой, оказавшись наедине, растянулись на траве за рощей и слушали, как в лесу жалобно кричит шевалье: «Флора! Флора! Прекрасная Флора!» Флора его презирала. Была у нее такая черта, вообще достаточно редкая, а в нашем обществе особенно: она старалась избегать того, к чему относилась с презрением. Мы видели, как он в своем роскошном бордовом костюме прошел мимо нас и скрылся за деревьями. Флора перевернулась на спину и заложила руки за голову с тем спокойствием, какое ей предоставляла сама суть моей любви. Выглядела она молодо, как никогда. Ее волосы рассыпались по выгоревшей траве, синие глаза на солнце сделались почти зелеными, шея чуть загорела за время долгих прогулок верхом. Зубы поблескивали между губами, и я в который раз пожалел, что любовь, переполнявшая меня, не позволяет на нее наброситься. Чтобы не смотреть на нее, я тоже растянулся рядом, заложил руки за голову и закрыл глаза. Лицо Флоры, словно отпечатавшись, проплывало за моими веками, то исчезая, то снова возрождаясь во всей своей красоте и молодости. Она тоже закрыла глаза – я это почувствовал, потому что задумчивый, замороженный собственной музыкой голос, вдруг зазвучавший возле меня, мог принадлежать только человеку, у которого закрыты глаза. Голос неожиданно хриплый, чувственный... Должно быть, таким голосом Флора разговаривала в постели с мужчиной. И этот голос прошептал:

...и ресницы трепещут во сне
Над морем туманным очей твоих
полуоткрытых...

Здесь она остановилась. И мое сердце остановилось с ее голосом. Я был словно парализован, не осмеливаясь ни открыть глаза, ни остаться с ней рядом, ни взглянуть ей в лицо. Мне казалось, что все во мне выдаст ту неистовую ревность, ту животную ярость, которые меня охватили, когда я узнал стихи. Она, несомненно, тоже поняла, что я могу узнать эти строчки, и не стала продолжать. Наверное, ее все же встревожило повисшее в воздухе молчание и то, как я напрягся, но было уже поздно. Я заставил себя молчать и не двигаться, пока она не поднялась, ни слова мне не сказав, и пока я не убедил себя, что нет ничего жестокого и разоблачительного в том, что она на память читала стихотворение Коссинада.

* * *

Прошло несколько дней, и я, заставив себя позабыть об этом смехотворном инциденте – смехотворным я здесь квалифицирую свое поведение, – узнал от Артемизы, что Жильдас Коссинад уехал в Париж и отъезд его был тайным. Что до меня, то я эту тайну был согласен хранить так долго, как только возможно.

Для меня наступили пятнадцать дней счастья. Восемь дней лил дождь, и, если вспомнить, летом 1833 года такие дожди случались. А всю следующую неделю солнце палило так, словно каялось, что долго прогуливало. Его золотые и розовые лучи теплыми потоками неумолимо лились на хлеба, деревья, зазеленевшие от дождя луга и на обрывистые берега реки. Вся провинция покрылась лужами, забурлила вновь народившимися ручьями, и лошадиные копыта больше не цокали, а чавкали. От водяных потоков исходил томный парок. Как бы это объяснить?.. Галоп превратился в заплыв. Битва воды и солнца шла с переменным успехом и оттого казалась тем более восхитительной. На всем лежала прозрачная, как паутина, пелена. Она глушила голоса, замедляла движения, размывала очертания и размягчала сердца. Цвета становились ярче, и женская кожа обретала одновременно и роскошь и чистоту. Мужчины были не такими обросшими, а плакучие ивы плакали сильнее, чем обычно. Короче, Флора стала нежнее. Мы вместе ездили кататься, вместе обедали, много болтали и смеялись. А дулся я в одиночку. Подчас нас принимали за молодоженов, а мое ворчание, которое она знать не желала, – за обычную для молодого супруга комедию, и в таких случаях комментарием служила добродушная улыбка. И за пятнадцать дней я только трижды сказал ей о том, что лежало у меня на сердце: что я ее люблю, что я ее желаю и что жизнь моя без нее – полная пустота.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.